

**Пётр Николаевич Краснов**

**Понять - простить**

**Москва  
«Книга по Требованию»**

УДК 82-3  
ББК 84  
К77

**Краснов П.Н.**  
К77 Понять - простить / Пётр Николаевич Краснов – М.: Книга по Требованию, 2012. – 346 с.

**ISBN 978-5-4241-1963-7**

Роман Петра Николаевича Краснова (1869-1947), генерала, прозаика, публициста, представителя первой русской эмиграции, «Понять - простить» рассказывает о судьбе русского офицера Федора Михайловича Кускова, любящего родину, ненавидящего большевиков и все же вынужденного им служить. По-разному, но всегда драматично, складывается жизнь и членов его семейства, которых российская катастрофа разбросала по всему миру. Краснов дает свою оценку происходящим в России событиям, объясняющую поступки героя. В книгу также включены отзывы эмигрантской печати о творчестве писателя.

**ISBN 978-5-4241-1963-7**

© Издание на русском языке, оформление  
«YOYO Media», 2012

© Издание на русском языке, оцифровка,  
«Книга по Требованию», 2012



# Часть первая

## I

Дождь... дождь. Он идет, то мелкий, нудный, еле заметный, точно туман падает на улицу, то с порывом теплого весеннего ветра налетит крупными каплями, бодро зашумит по зонтикам, и заблестят под косыми струями черные тротуары и скользкий асфальт мостовых. На минуту разорвутся тучи. Будто отодвинет кто-то в небе занавески, и желтое солнце, мокрое, еще плачущее, проглянет из серых туманов. Слышнее шелест резины колес автомобилей. Четко стучат подковы редких лошадей.

Париж кипит, течет черными потоками раскрытых зонтиков, устремляется каскадами под землю в метро и разливается реками по авеню вокруг Орега.

Париж победитель! Спокойный, властный, сытый, довольный, заваленный продуктами и товарами.

В нем таким одиноким чувствует себя Светик Кусков — бывший русский, бывший офицер-гвардеец, бывший доброволец Деникина, бывший врангелевец, бывший галлиполиец, бывший чернорабочий на лесных заготовках в дебрях Югославии, а теперь... Он не знает и сам, что он. Вернее всего — белый раб, ищущий покупателя. Едва ли — не бывший человек.

Он приехал в Париж по поручению группы товарищей, на собранные ими деньги, чтобы разведать и узнать: на что же надеяться? о чем мечтать? когда же будет просвет? с кем идти?... Или навсегда оставаться белыми рабами, спать в каменной развалине без окон, на грязном земляном полу, толпиться вечерами возле дымной печки, где сушится рваная обувь и одежда, и задолго до света карабкаться, цепляясь за веревку, в горы, чтобы там валить деревья. Там и умереть... Как умерли Кругликов, Стронский, Солдатов, Баум, Осетров, Полянский и многие, многие из их полка. Умереть от воспаления в легких, от болезни сердца, от тоски по Родине, от смертельной усталости — не все ли равно от чего! И не видеть больше России.

Кусков приостановился на мосту. Осмотрелся. Солнце прорвалось сквозь тучи и голубыми ласточками заиграло в сером кипящем потоке реки. Зазолотился двуглавый орел на белом мосту императора Александра III. Показался Кускову почему-то печальным и одиноким. В косматых, черных обрывках туч тонула Эйфелева башня. Вершина ее, точно оторванная от основания, висела в клочке зеленоватого неба и, казалось, плыла со всеми остриями беспроволочного телеграфа, уносясь в беспредельность.

Кусков справился по плану. Он сильно забрал влево. Следовало бы спросить. Но спросить было совестно. Все были такие элегантные, в модных шляпах с широкими полями «bercalliere», в легких пальто, сухие под зонтами. Он один был мокрый, в стоптанных ботинках и штанах без четкой складки. — "Найду и так". — Он поднялся вверх по Сене и вошел в Тюильрийский сад. Точно раздвинулся Париж. Раскрылись ширь, и красота далеких перспектив Елисейских полей.

"Да, — подумал он. — Велик и талантлив народ, создавший эту красоту! Какой размах! Мне кажется, нигде нет такого искусного пользования расстоянием в самом центре города". Остановился... Хотел полюбоваться. Старался запом-

нить и унести с собой эту красоту. Унести в монастырь Горнак среди мокрых скал и хмурых сосен или в милый родной Санкт-Петербург?

"Когда же?"

Трава зеленела сочно на мягких газонах. В желтых цветочках стояли кусты. Лавры и азалии улыбались в мокрой листве. Широкое Avenue des Champs Elysees было точно отделано нежным сероватым кружевом голых деревьев. Вправо, совсем близко, Триумфальная арка была, как бы нарисована гуашью на сером картоне гуч. На зеленых площадках будто спали беломраморные статуи.

Когда посмотрел влево, в глубь Елисейских полей — дух захватило. Ширь и даль звенели торжественным звоном. Воздух был виден тонкими нитями, тушевавшими просторы. Луксорский обелиск намечался острой иглой в сдвинувшихся туманах. Точно написанная на небесном холсте, стояла на площади Etoile Триумфальная арка. Казалась воздушной.

Красота меркла на глазах у Кускова. Затягивалась кисеей начинавшего моросить дождя. Еще воздушнее, еще нежнее, точно кисейные платья сереброкудрых маркиз на фарфоровой прелести картин Ватто или томные песенки пасторалей восемнадцатого века, казались просторы Парижа.

Кусков вышел на гае Royale. По ней непрерывным гулким потоком мчались автомобили. Собор Мадлен казался древнегреческим храмом. Крыша опиралась низким треугольником, украшенным барельефом, на восемь стройных колонн. Рядом, под маленькими холщовыми навесами, тесными рядами были расставлены цветы. Среди нежных, белых и розовых азалий алым пламенем горел громадный тюльпан. Торговки в деревянных сабо поверх башмаков ходили по лужам, прибирая горшки от налетевшего ветра.

Кусков смотрел вывески, искал «Lague». Наконец под большими золотыми буквами «Jamet» он увидел вход в кабинеты. Он открыл стеклянную дверь и стал подниматься по узкой лестнице, устланной мягким ковром. Приятная сухая теплота охватила его изыбшее в мокром пальто тело.

"Jamet", — думал он. — "Jamet", — не так оно написано. Надо бы написать «jamais». Тогда яснее бы оно вышло. Никогда бы я сюда не попал, да, вероятно, никогда сюда и не попаду..." (Jamet — фамилия хозяина магазина. Jamais — никогда. Игра слов (фр.))

## II

В тесном коридоре-прихожей, коленом уходившей вглубь, было полутемно. Нога тонула в ковре. Полный, круглолицый, бритый лакей во фраке встретил Кускова. — Monsieur? — спросил он.

— O u est le cabinet reserve par le prince Rostovsky? (Где кабинет, заказанный князем Ростовским? (фр.)) — сказал, запинаясь, Кусков.

Лакей молча распахнул белую дверь. Пожилая женщина в черном платье и белом чепце приняла пальто и шляпу Кускова, и он вошел в кабинет. Два небольших окна с тюлевыми занавесками глядели на площадь Madeleine. Дождь сыпал крупными длинными каплями, косо упавая на улицы. Такси неслись непрерывно на boulevard Malesherbes и Des Capucines. Зонтики внизу казались сплошной черной массой. Шум улицы сюда не достигал.

Было слышно, как тикали часы. На полке камина стояли мраморный амур и две вазы. Кускову казалось странным, что они здесь давно стояли. Много лет.

Всегда... До войны... Задолго до войны. Никто их не стаскивал, не прятал топорливо, не убирал, не разбивал, не увозил. Только чистили и мыли перед праздниками. Да... странно. Словно тут не было войны... И уж, конечно, не было революции и большевиков. Они это забыли. Они этого уже больше не понимают. И никогда не поймут.

Кусков прошелся по ковру. Мягкий был ковер, серо-розовый, пушистый, теплый. Хранил в себе тайны отдельного кабинета. И диванчик, розовый с золотом, и кресла, и стулья стояли тихие и точно лукавые. Знали они что-то забавное, может быть, и неприличное, но непременно красивое. И Madeleine в окно гляделась не строгостью христианского храма, а, скорее, тонким сладострастием античного капища. Узкие длинные ступени ее точно ждали цветов, гирлянд и полюбнаженных женских тел.

Черное пианино у стены тоже слышало песни веселья. В белой накрахмаленной скатерти, в фарфоре тарелок, в готовой закуске, в серебряном ведре со льдом, где торчала стеклянная бутылка с русской водкой, было что-то чистое, красивое, но и развратное.

"Русская водка! — значит, осталось же что-то русское. Не все Третий Интернационал, не все большевики! И искусство русское осталось. Изгаженное большевиками, жидами и футуристами, приноровленное служить их целям, насмехаться над Русью, показывать ее за границе в уродливом виде, с неврастениками-царями, прокутившимся дворянством и гольтьбой интеллигентской... Пошлые, красные малявинские бабы, грязный, развратный лубок, сизые носы картошкой, песни улицы, да, — для заграничного потребления это хорошо. Гонит предпринимателям монету. Дает возможность победителю насладиться здоровым смехом... Les ropes, les moujikis, la wodka, la Katjenka... (Попы, мужики, водка, Катенька... (фр.)) Ах, как хорошо! Ces vilains sauva-ges" (Эти мерзкие дикари (фр.)).

Кусков поежил и отошел от окна. Неужели ничего больше не осталось? "Les bolschewikis"... (Большевики (фр.))

И вдруг вспомнил...

Он был в гостях у соседей. Таких же белых рабов, каким был и сам. Был сумрачный январский вечер. И было уже так темно, что на пять шагов ничего не было видно. Только что с треском, ломая сучья, упала высокая ель, и заблестела в темноте свежая рана обнаженного пня. Шел дождь со снегом, и в вершинах деревьев нудно шумел холодный ветер.

— Что же, господа, пошабашим, что ль! — раздался молодой голос, и Кусков прямо перед собой увидел высокого стройного казачьего есаула.

Черноусый, бледный, с глубоко впавшими глазами, со сдвинутой на затылок старой папахой, он стоял в рубахе и портах, подставляя снегу и дождю впалую темную грудь. В тонких руках он держал топор.

— Идемте, ваше благородие, все одно работать нельзя. Пилу завязишь в этой мокроте. Неспособно совсем, — ответил кто-то из мрака.

К грязной тропинке, где в коричневой торфяной жиже по щиколотку утопала нога, сходились со всех сторон люди. Тропинка так круто шла вниз, что идти можно было только держась за канат и помогая друг другу.

Шли молча. Накрыли головы и плечи старыми шинелями.

Внизу уже сгустился мрак. Тусклыми желтыми пятнами горели окна большо-

го каменного монастыря. Там раньше помещались коровы и овцы, теперь в наскоро отделанных сараях с деревянными нарами жили офицеры и казаки, все вместе, одной жизнью. У горячей дымной печки снимали сапоги и платье и на колышках вешали сушить, а сами, полуодетые, сидели вокруг, ожидая ужина. Керосиновая лампа тускло освещала хмурые, темные, худые лица. Иногда под ее лучи попадет полуобнаженный, под рваной рубахой, торс, блеснет кожа, желтая, как старая слоновая кость, покажутся под ней ребра и исчезнут в темноте. Разговор вспыхивал и угасал, как искры ночного костра.

— Что же, господа, сегодня опять и двух метров не заготовили.

— Ку-у-ды ж!

— Так ведь погода! — сказал кто-то, мягко выговаривая «г» как «х».

— Значит, господа, опять и харчи не оправдались.

— А ты ешь. Не думай.

Несколько минут была тишина. Звякнет ложка об олово тарелки, кто-нибудь шумно подует. Пресно пахло пареной картошкой, бобами, прелым бельем.

— Опять, господа, бобы.

— Мне на них и смотреть тошно.

В печке дрова вспыхнули. Красными пятнами побежали по голым ногам в мокрых онучах. Погасли. Темнее стало в сарае. Долгая январская ночь надвигалась.

Из темного угла чей-то дрожащий, мелодичный тенор начал несмело:

Всколыхнулся, взволновался

Православный тихий Дон,

И послушно отозвался

На призыв Монарха он.

В углу кто-то, как птица, встрепенулся, приподнялся, должно быть, с жесткого ложа и пристроился вторым голосом. Пошли обе ровно, разрывая тишину ночи, будя воспоминания:

Дон детей своих сзывает

На кровавый бранный пир,

К туркам в гости снаряжает,

Чтоб добыть России мир...

Со всех концов сарая стали примыкать голоса. Загудели октавой, как шмели, басы, и старая песня донская потрясала стены монастыря.

— Так ведь было же это, господа! Ужели же мы не дождемся, что будет снова — и мир, и слава, и честь русская, и честь донская?

— Атаманы-молодцы, послушайте! Не могёт того быть, чтобы сгинула русская земля, чтобы так-таки в тартарары провалилась. Не могёт этого быть...

— Пригодится и мы. Не век вековать в Пожаревачках, не век горевать в Горнаке.

— Пережили мы Голое поле, пережили голодный Лемнос, переживем и горький Горнак!

— И увидим родные станицы... Родной хутор увижу я. Ах, братцы! И жива ли мамынька моя? Поди, старушка древняя стала, поди, и не признает меня. Скрыпнут, родимые, ворота у двора белого, въеду я, значит, на коне золотисто-гнедом. А через спину по крупу ремень, значит, черный. Ух, и конь у меня, братцы, был! Доморощенный... Да, въеду я, значит, во двор... А мамынька ко

мне бежит, и жана идет молодая. "Мамынька, — говорю я, — примите пику!" А жана коня под уздцы берет и за стремя рукой хватается и ласково так очами: зирг — зирг... Польшаают синие!

— Что же это приснилось тебе, что ли?

— А хоша бы и приснилось. Сон, братцы мои, дюжа хороший...

— Да осталось ли что еще и дома-то?

— Ребятки, а что, из дома писем кто не получал?

— Получал.

— Что же пишут?

— Да что... Писать-то нельзя. По правде. Псевдонимно пишут. А понять одно можно. Кто жив еще — того душат, а кто помер — и хоронить некому.

— Сергеева отца расстреляли. Советскую власть обругал.

— Комиссаром в станице Лунченоч сидит. Сами знаете, кто он. Вор и убийца.

— Ну, буде, ребята, скулить. Зачинайте, Алеша, песню нам ладную.

Полился из темноты тенор. Как ручей зажурчал. С ним казачья душа выливалась.

Да... это было неделю тому назад. Там, где Россия, — не wodka gusse, не малявинские бабы, не голоногий балет, не проживание фамильных брильянтов, а упорный труд. И вера... И любовь...

И разве любовь, вера и труд — не та сила, что все победит?..

### III

— А, Кусков!.. Надеюсь, не опоздал? Я был аккуратен? Сейчас без трех минут половина второго.

Вошедший, человек лет тридцати, бритый, холеный, с розовым, худошавым, породистым лицом, тонкий, полный изящества движений, что дается только рождением, прекрасно одетый в черный костюм и темно-серые панталоны в черную полоску с заботливо сделанной на них складкой, в маленьких лакированных башмаках и серых шелковых чулках, приветливо смотрел в загорелое лицо Кускова. Почти не переменились, Кусков. Пожалуй, еще похудели. Когда мы последний раз виделись?

— Под Званкой, князь, мы вместе ходили в атаку. Ваша рота шла левее моей. Помните, когда полковника

Оксенширна тяжелым снарядом убило...

— Как же. Не называйте меня «князь»... Не надо. Я все тот же Алик... Да... Хорошее было время. Мне, знаете, повезло... Благодаря назначению на Кавказ, а потом в Месопотамию, я ничего этого не видал... А вы... Вы много пережили? Рассказывайте, Кусков! Вы долго еще оставались в полку?

— До самого конца.

— Пойдите, — кивая на стоявшего сзади него толстого лакея с меню в руках, сказал князь, — надо заказать сперва.

— Eh bien, un dejeuner pour cinq personnes, — начал он. — Que mangeons-nous aujourd'hui?

(Завтрак на пятерых. Что у вас сегодня? (фр.))

— Des oeufs, du poisson, ou bien un roti? (Яйца, рыба или мясо? (фр.))

— Вы что хотите, Кусков? Рыбу или мясо?

— Мне, право, князь, все равно.

— Нет-нет! Сегодня вы наш гость. А, здравствуйте, господа. Как мило, графиня, что вы не опоздали, — приветствовал князь Ростовский вошедших в кабинет двух штатских с дамой. — Вы незнакомы? Это — Кусков, мой тов... мой друг по полку. Вместе воевали. Храбрейший офицер. Герой, но не герой в кавычках... Ах, Кусков, не люблю я этот тип русского героя. Один целую роту в плен взял. Ему мало четырех георгиевских крестов, он ухитрится в разных армиях, на разных фронтах восемь набрать и так их и носит в два яруса, не стесняется, что статутом не предусмотрено. Послушаешь его, подвиги — один необыкновеннее другого, а на деле — все врет. Русский «раненый» в кавычках и русский «герой» в кавычках — это нечто ужасное. Это фундамент большевизма. Так вот, графиня, Кусков — действительный герой, скромный, молчаливый, не будет вам глупостей рассказывать, но, когда нужно, ничего не испугается. А это, Кусков, — наша милая графиня Ара — Варвара Николаевна Пустова, тоже герой без кавычек. Как добрались, Ара?

— О, я не могла отыскать такси и шла пешком. Такой бураск (Bourasque — ветер с дождем (фр.)) налетел, что чуть мою ширму (Der Schirm — зонтик (нем.)) не сломал, — сказала, картавя, графиня.

— Bravo, графиня! — воскликнул совершенно лысый молодой человек в сером костюме, с бритым лицом и тонким носом над пучком стриженных усов. — Прекрасный русский язык! Вы в эмиграции скоро совсем перестанете говорить по-русски.

— А что я сказала такого, что вы, Серега, смеетесь? Вы всегда надсмехаетесь надо мной.

— И чем «бураск» и «ширма» хуже вашего добровольческого жаргона, — заступился князь. — Вы тоже недалеко ушли, когда рассказывали мне, как "драпнули в два счета" от Орла, боясь за обоз со своими вещами, "подарками благодарного населения". Или о том, какой «тарарам» у вас был, когда крушили вы Жлобу... Нечего корить. Кусков, вы на нашего Серегу не обижайтесь. Сергей Сергеевич Муратов любит поддеть человека, недаром в белой чрезвычайке, то бишь — контрразведке, служил... А это — пан Синегуб, Павло — украинец, и ширый, — указал он на ставшего в стороне у камина худощавого человека, довольно странно одетого в черную черкеску без гозырей.

Князь обернулся к метрдотелю и заказал меню завтрака.

— А теперь, господа, прошу водочки. Ара, разлейте ее нам. Из ваших милых ручек она вдвойне вкуснее покажется. И водка, доложу я вам, — еще довоенного времени. Золото, а не водка... Семужки, Кусков! У них, Кусков, семга очаровательная, и вот селедочки в масле — первый сорт. Ну, бывайте, здоровы, господа!

На диван, за овальным столом, сел князь. Он посадил рядом Кускова. Против них сели Муратов и Синегуб. Лицом к окнам, по правую руку князя, графиня Ара. Кусков всматривался в лицо графини. Было что-то знакомое в нем. Бесконечно милое. Что-то болезненно дорогое напомнило ему и самое имя. Но не мог разобрать черты лица. Модная шляпа *grande cloche* (Большой колокол (фр.)) с широкими, в ширину плеч, полями была надвинута на брови. Полный овал слегка намятого лица был чист. Зубы сверкали ровные. Изящная линия шеи, чуть полной для ее юного подбородка, опускалась к плечам и обнаженной груди, покрасневшей от загара и ветра. Глаз и верха лица не было видно под

шляпой. На графине было свободное платье с широкими до локтя рукавами, подхваченное золотым, низко опущенным кушачком. В складках мягкой материи угадывалось полнеющее тело и кошачья грация. Черные волосы были острижены в кружок и локонами падали из-под шляпки. Когда поворачивалась она к князю и, смеясь, шептала ему на ухо, Кусков видел сзади ее шею с подбритым затылком и с темной тенью отставших волос. Ему вспоминались казаки с такими же затылками и с такой же тенью коротких черных волос. Кто она? Та тоже называлась Арой, была такого же роста... Но у той были длинные черные волосы и, когда разделась она, она окутала ими и себя, и его до самых колен... Больная была страсть и мимолетная, как больное и быстро текущее было тогда и само время... "Нет, конечно, не она. Та была не графиня... Да и могла ли бы графиня?!"

Ара приподнялась налить водки в рюмки и перегнулась через стол. Перед глазами Кускова показалась уходящая вглубь шея и нежные очертания груди. Он увидел кружево рубашки и маленькую брошку, закалывавшую длинный ворот. Граненый синий камушек, а кругом маленькие бриллиантики. Знакомая брошка! Он держал ее в руках в Константинополе, когда та Ара просила его продать ее. От ворота шел тонкий аромат духов — все тех же. Кусков вспомнил все и узнал Ару... И Ара узнала его. Рука с бутылкой дрогнула в ее руке. Тихо и жалобно звякнуло стекло рюмки...

В сумбурной квартире, где все было перевернуто кверху дном, где целый день кто-нибудь что-нибудь ел или пил, где по диванам, креслам и на полу на коврах валялись днем и ночью молодые люди в офицерской форме, где лежали ручные гранаты, винтовки, револьверы, отдельные части пулеметов, всем распоряжалась Ара. Она в крестьянском платье уходила в город на разведку и возвращалась растрепанная, оживленная, с кулками хлеба, с подобранными на улице патронами. Приводила новых волонтеров — офицеров и юнкеров. Закрутив на затылок прекрасные волосы и накрыв их солдатской папахой, в рубаше и шароварах, в шинели, с винтовкой в руках она ходила в дозоры и ночью сменяла Кускова. Был август 1917 года. Шло корниловское восстание, и квартира Ары жила лихорадочной конспиративной жизнью, и никто не знал, что надо делать в случае удачи. Кого арестовать — Временное ли правительство или Совет солдатских и рабочих депутатов? Куда бежать, куда вести толпы народа — к Зимнему дворцу или в Смольный институт? Жили богемой, удалой шайкой молодцов-разбойников с молодым атаманом Арой. Была она с ними как товарищ. Презрительно сжимала губы, когда ей женские говорили комплименты, ругала большевиков и Временное правительство «сволочью» и «сукиными сынами» и, когда при ней, на дворе, сочно, по-мужички ругаясь, творил непотребства вечно пьяный Успенский, богатырь-капитан, она подходила к нему, толкала в плечо и, смеясь, говорила: "Ты бы, Васенька, хотя бы отвернулся. Все-таки я девушка!.." Они ничего не сделали. Говорили: организации не было. Модное тогда это было слово — организация... Когда по улицам стали ловить и арестовывать офицеров и многие были убиты в «Астории» и других местах, когда звонкое слово «корниловец» пошло гулять по солдатским толпам, их организация распалась. Как-то быстро исчез Успенский, и потом видели его пробирающимся в одежде рабочего на юг, к Каледину. В опустелой квартире с разбитой мебелью, с накиданной на полу соломой, с грязью и плевками остались только Кусков и Ара. И когда пришли солдаты и

спросили, кто он, — "Я корниловец!" — гордо ответил Кусков. Был арестован. Он сидел две недели в «Крестах». Когда его освободили, он пошел на квартиру к Аре. Он нашел ее одну. В квартире было чисто и тихо. Вечером шептала Ара, что надо всем смелым объединяться и идти спасать Государя из Тобольска, и уговаривала его ехать с нею. Он колебался. Тогда в сумраке комнаты она стала раздеваться и, сверкая большими безумными глазами, говорила смелые речи. А потом... подошла и закутала его черными душистыми волосами. То была безумная ночь. Утром она прогнала его. Вечером он снова пришел, — но никого не нашел на пустой и разграбленной квартире.

Такое было время. Кошмарное. И события были, как тяжелый сон.

Через три года они встретились в трюме парохода, шедшего в Константинополь. Она страдала от жажды и голода, и он отдавал ей то, что сам получал, и после, в Константинополе, в Пере, в маленьком переулочке, в гостинице "Nouvel Orient Hotel", содержимой греком и переполненной греками, они провели медовый месяц, длившийся три дня. Он уехал со своей частью в Галлиполи, она — во Францию. Тогда, прощаясь, она совала ему в руку эту брошку и просила продать, чтобы были у него деньги.

— Деньги теперь все, — шептала она ему. — Теперь, когда нет Государя и пропала Россия, пропали честь и слава, когда все, все, все стали ворами, остались только деньги... И надо, чтобы деньги у тебя были... С деньгами проживешь. Деньги все... Мой милый, воруй, спекулируй, грабь, продавай казенные вещи — деньги все. Теперь такое время...

Жуткие были речи...

И вот теперь в Париже... у Lague — графиня Пустова.

## IV

— Кусков, как вы думаете: Государь и вся семья его убиты?

Ара смотрят в глаза Кускову. Головка приподнята. Поля шляпки вокруг, как широкая темная рама, кидают тени.

— Кто может это знать, — говорит Кусков.

Его голос дрожит. Смутными вихрями носятся мысли и воспоминания. То ли шумит голова от водки.

— Записки Жильера, показания следователя Соколова, мне кажется, пролили достаточно света на этот темный и жуткий вопрос.

— Вот именно, — капризно говорит Ара, — и ничего они не пролили. Там есть такие места, что как раз наоборот — чувствуется недоговоренность.

— Что же, все это, по-вашему, была только инсценировка? — спрашивает Муратов.

— Да, может быть, — неохотно отвечает Ара.

Но позвольте, — говорит князь Алик, — достаточно посмотреть на фотографии Свердлова и Юровского для того, чтобы понять, что эти люди на все способны. А помните солдат и матросов в первые дни "великой бескровной"? Разве тогда не были готовы они сотворить екатеринбургское действо в Царском Селе?

— И не сотворили, — упрямо встряхивая кудрями, говорит Ара. — Я не допускаю мысли, чтобы могла подняться русская рука на помазанника Бога. Спасли же матросы и сохранили Государыню-мать и великого князя Николая Николаевича. Притворились большевиками и спасли.

— Оставьте, пожалуйста, — говорит Синегуб.

— Кроме того, — продолжает Ара, — мое подсознание говорит, что они живы.

— Так долго нельзя было бы их скрывать.

— Но если они сами не хотят открыться.

— Даже и теперь, — говорит князь, — когда только появление Монарха может вывести Россию и русский народ из пучины бедствий!.. Неужели вы, зная Государя Николая II, допускаете, что он теперь не исполнил бы своего долга и не открылся бы?

— Вы считаете, что время благоприятное? — говорит Синегуб.

— А вот для этого мы и собрались, — замечает князь. — Не только, чтобы позавтракать с милой графиней, но и для того, чтобы посвятить во все Кускова. Он приехал вчера, всего на два дня, чтобы узнать, что же можно ждать им, живущим в ужасных условиях, и на что надеяться.

— Телепатия, — начинает Ара, но князь перебивает, смягчая свою невежливость пожатием ее руки ниже локтя.

— Оставим это, Ара. Вы — серьезная политическая женщина, и потому-то я и пригласил вас. Мы, Кусков, стоим теперь перед новыми горизонтами. Знаете, как бывает в книге, в каком-нибудь романе. Пишет, пишет автор о ком-нибудь, и вдруг — новая глава, и новые лица, и совсем другая обстановка. С конца прошлого века и особенно после 1905 года всеми умами владели партии.

Партии были всё. На них были надежды и упования. Не быть в партии было неприлично. Партии разрушили Российскую империю, партии создали революцию, и партии правят Россией. И за границей, в эмиграции, среди беженцев партии главенствовали. Под сильным увлечением кадетами прошли 1918 и 1919 годы, эсеры верховодили в 1920 и 1921 году, выплыли и шумели, грозя петлей и каленым железом, правые монархисты в 1922 году — а теперь вместо всех их — пустое место. Никто никому не верит, и, прежде всего потому, что, по существу, и партий с их внутренней дисциплиной нет, они раскололись, и чуть ли не три человека уже составляют партию. То же самое и в сумрачной Совдепии. Новая ли экономическая политика — нэп, так не соответствующий коммунизму и социализму, болезнь ли Ленина, усталость ли вождей, то ли, что они объелись властью, но и там не коммунистическая партия правит Россией, а правит та сволочь, что примазалась к ней, и ясно, что сволочь эта долго не удержится. На смену партии является личность.

— Неужели, Алик, вы серьезно относитесь к выступлению блюстителей? — говорит Муратов.

— Seriously? Нет. Но это опыт. Неискусный, неумело сделанный, но повлиявший на многих и показавший, что люди созрели для того, чтобы воспринять личность. И я уверен, что она явится, она не за горами... Кусков, скажите тем, кто ждет, что новая Россия требует новых людей. Отработавший пар не годен. Не ищите вождей среди тех, кто был и сорвался, не смог, не сумел, не справился... Обстоятельства были неблагоприятны — это все равно, но тот, кто упал — не встанет.

— Князь! — восклицает Ара, хватая за руку Алика — но надеюсь... не смена династии?..

— Боже упаси! Династия Романовых! Как ни лили на нее грязь целыми